



СМЕРТЬ - ЭТО ПРОСТО АНТРАКТ

С К И Р Д А М А Р И Я

Мария Скирда

Смерть - это просто Антракт

«Автор»

2026

Скирда М.

Смерть - это просто Антракт / М. Скирда — «Автор», 2026

Эдмунд Траурбель умер на сцене. Его последняя шутка была про налоги. Никто не засмеялся. Теперь он — призрак. У него есть ровно год, чтобы набрать тысячу добрых дел, иначе он станет Никем — растворится в лондонском тумане без имени, памяти и формы. Его единственная валюта? Смех. Его сцена? Похоронное бюро «Прах и хохот». Его зрители? Циничный хозяин, который спит на гробу, мальчик-трубочист, умерший в трубе сто пятьдесят лет назад, бывший палач, прячущийся в подвале, банкир, подавившийся устрицей, и женщина, которая стучит в ответ из-за стены. Вместе они превращают зал прощаний в театр абсурда. Их оружие — чёрный юмор. Их враг — Небесный Порядок: бюрократическая загробная контора с бланками, печатями и бесконечными проверками. «Смех из пустоты» — готическая чёрная комедия о том, что даже после смерти можно смеяться. Особенно после смерти.

© Скирда М., 2026

© Автор, 2026

Мария Скирда

Смерть - это просто Антракт

СМЕРТЬ - ЭТО ПРОСТО АНТРАКТ

ПРОЛОГ

В тот вечер клуб «У разбитого моногля» был набит под завязку. Публика собралась самая что ни на есть пёстрая: разорившиеся аристократы, которые хохотали чересчур громко, дабы никто не заметил дыр на их манжетах; коммерсанты с лицами цвета переспелого бурака, уже успевшие осушить по три пинты эля и теперь готовые разразиться смехом даже по поводу объявления о распродаже гробов; и, разумеется, те, кто явился единственно потому, что на улице лил такой дождь, что даже уличные фонари выглядели пьяными.

На сцене стоял Эдмунд Траурбель.

Ему шёл двадцать третий год, и вид у него был такой, словно сама Смерть вознамерилась взять у него интервью на тему: «Почему вы до сих пор не мой?» Бледное лицо, тёмные круги под глазами — не от бессонницы, а от привычки экономить на свечах, — и костюм, чёрный не из эстетических соображений, а потому что на чёрном не видно пятен от дешёвого кофе.

— Знаете ли, — молвил он, поправляя микрофон, который тут же испустил звук, до боли схожий с предсмертным хрипом электроники, — я подрабатываю в похоронном бюро. «Праха и Хохот» именуется. ФДевиз: «Последний путь с улыбкой». Признаться, я полагал, что это есть самое забавное, что мне доводилось слышать в жизни.

Публика засмеялась. Пока ещё вежливо, но Эдди знал: вежливый смех — это всё равно что вежливый отказ. Он не согревает, однако и не убивает.

— На днях, — продолжал он, делая шаг вперёд, — заявляется ко мне клиент и говорит: «Мой дядя скончался от смеха. Не возьмётесь ли организовать похороны?» Я отвечаю: «Отчего же нет. Это будет наш самый дорогой тариф. Именуется он "Упал, очнулся — гипс"». Клиент шутки не понял. Молвил, что дядя не падал, а всего лишь смотрел комедию. Тогда я изрёк: «Вот видите. Даже смерть выбирает лучшие места».

Смех сделался громче. Некий джентльмен в первом ряду — толстый, с усами, смахивающими на двух мёртвых гусениц, — даже захолопал в ладоши. Эдди ощутил знакомый подъём в груди — то самое чувство, когда зал начинает дышать с тобой в унисон, когда ты держишь их смех на кончике языка, точно дирижёр — оркестр из безумцев.

— Но если серьёзно, — произнёс он, понижая голос до заговорщического шёпота, — смерть от смеха — это самый дорогой способ отправиться в мир иной. Ибо после того родственники твои полгода судятся с нотариусом: «Это был несчастный случай? Или он сам виноват, что попёрся на стендап?»

Зал взорвался. Хохотали даже те, кто не расслышал шутки — просто потому что сосед справа давился элем и тряс животом, а смех, как известно, заразнее холеры, особенно в дождливый вторник.

Эдди улыбнулся. Улыбка вышла кривая — точь-в-точь половицы в доме, где не платили налогов. Он отступил на шаг, собираясь перейти к следующей шутке — про вдов, что рыдают громче всех, ибо знают, где муж припрятал сбережения, — но тут нечто пошло не по плану.

Он и сам не понял, что именностряслось. То ли ужин — дешёвая похлёбка с куском хлеба, помнившим ещё Наполеона, — решил напомнить о себе. То ли горло свело судорогой от волнения, которое он тщательно прятал под маской цинизма. То ли сама Ирония, та старая шлюха, вознамерилась проучить наглеца, посмевшего шутить о том, чего не разумеет.

Эдди разинул рот, дабы изречь: «А ведаете ли, чем вдова отличается от...» — но вместо слов из него вырвался звук, похожий на попытку старого аккордеона сыграть похоронный марш в нетрезвом виде.

Публика замерла.

— Э-э-э, — произнёс Эдди. Или попытался произнести. Ибо в ту же секунду его вывернуло наизнанку.

То не было изящным, голливудским извержением желудочного содержимого, какое показывают в дешёвых комедиях, где актёр лишь притворяется, что его тошнит. Нет. То была самая что ни на есть подлинная, физиологичная, уродливая и беспощадная рвота человека, который съел слишком много дешевой похлёбки на нервный желудок.

Эдди попытался отвернуться, но сцена была мала, а микрофон — предусмотрительно привязан к стойке, дабы не украли. В результате звукорежиссёр — тот ещё прохвост по имени Финниган, который ненавидел всех комиков, ибо сам мечтал выступать, но не умел шутить, — не выключил микрофон.

Зал услышал всё. Эдди рухнул на колени. Он ещё успел подумать: «Какая ирония. Я шутил про смерть от смеха. А умер от собственной блевотины. Это... это материал для следующего выступления».

Следующего выступления не будет.

Он повалился лицом в лужу собственной рвоты, и последнее, что узрели его глаза — которые, как ни странно, оставались открытыми дольше, чем надлежало, — это ноги первого ряда. Толстый джентльмен с усами-гусеницами аккуратно отодвинул стул и молвил соседу:

— А он был недурён. Жаль, финал подкачал.

Мистер Сайлас Гроббинс, владелец похоронного бюро «Прах и Хохот», прослышал о кончине своего лучшего и единственного сотрудника в три часа ночи.

— Мистер Гроббинс? Ваш сотрудник скончался. В клубе. При выступлении.

— От смеха? — с надеждой спросил Гроббинс.

— От рвоты, сэр. Он захлебнулся.

Гроббинс безмолвствовал ровно три секунды. Затем его лицо — лицо человека, видевшего столько мертвецов, что он мог бы написать книгу под заглавием «101 способ не умереть, если вы всё же умерли», — медленно расплылось в улыбке.

— Отлично, — изрёк он.

Полицейский моргнул:

— Прошу прощения?

— Я говорю, отлично, — повторил Гроббинс, уже натягивая пальто. — Смерть от рвоты после шутки про смерть от смеха? Да это же золотая жила! «Прах и Хохот — у нас даже сотрудники умирают от смеха».

Он уже шагал по улице, не обращая внимания на дождь.

Тело Эдмунда Траурбеля доставили в бюро в пять утра.

Гроббинс развернул мешок на столе для бальзамирования.

— Ну, Эдди, — молвил он, берясь за тряпицу с вышивкой «Смех продлевает жизнь». — Ты всегда желал, чтобы тебя запомнили. Не так ли?

Он отер лицо покойного, поправил волосы, припудрил щёки.

— Отличная реклама, Эдди, — изрёк он. — Ты всегда умел сделать так, чтобы люди тебя запомнили.

Он хлопнул тело по плечу. Тело не возражало.

— Похороны завтра. Заголовок: «Комик умер от смеха. Шутка ли?» Двойной смысл, понимаешь? Гениально.

Гроббинс извлёк из кармана фляжку, отпил глоток и вышел, погасив свечи.

Тело лежало и безмолвствовало.

Но спустя три минуты воздух над столом слегка содрогнулся, и чей-то голос прошептал:

— Чёрт побери. А где мои руки?

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СМЕРТЬ - ЭТО НЕ КОНЕЦ

Первые несколько секунд загробного существования Эдди провёл в глубоком и, надобно признать, вполне заслуженном замешательстве.

Он лежал на спине. По крайней мере, ему казалось, что он лежит. Ибо когда он попытался шевельнуть правой рукой, дабы протереть глаза, он обнаружил, что правой руки... нет.

Точнее, она была. Он её видел. Бледную, полупрозрачную, слегка мерцающую по краям, точно старый газовый фонарь. Но когда он попытался ею пошевелить, она двинулась — с опозданием, как актёр, запомнявший реплику.

— Это... странно, — произнёс Эдди вслух.

Он приподнялся и увидел себя. Своё тело на столе для бальзамирования с открытыми глазами и выражением лица, которое можно было описать единственно как «я, кажется, упустил нечто важное».

— Ах, — вымолвил Эдди.

Это «ах» было не столько словом, сколько звуком, который издаёт человек, когда до него доходит, что его только что уволили, бросила возлюбленная и конфисковали последние штаны, — с той лишь разницей, что всё это стряслось одновременно и навсегда.

Он попытался подняться. Получилось — он завис в дюйме над полом.

— Я парю, — констатировал он. — И это не так забавно, как мне обещали в детстве.

Он попытался приблизиться к зеркалу. Вместо того чтобы шагнуть, он сместился на три фута левее. В зеркале никого не было.

— Классика, — вздохнул он. — Призраки не отражаются. Он попытался почесать нос. Пальцы прошли сквозь лицо.

— Потрясающе. Я — дым.

В этот миг дверь скрипнула. Вошёл Гроббинс с двумя незнакомцами — тощим и толстым.

— Это мистер Блисс и мистер Грим из Департамента Отсрочки, — сказал Гроббинс. — Они здесь, чтобы забрать вас.

— Куда? — спросил Эдди. Его не услышали.

Блисс достал портфель и бумаги. Грим зачитал: номер очереди 47 832 009, время ожидания — от двухсот до трёхсот лет.

— И я не могу даже почесать нос? — возмутился Эдди.

— Зато вы можете издавать звук раз в сутки, — сказал Грим. — Громкостью с испуганную мышь.

— Это худший контракт в моей жизни! — заявил Эдди.

Гроббинс, не слышавший этого, улыбнулся:

— Я использую эту историю для рекламы.

Блисс и Грим ушли. Гроббинс погасил свечи и вышел. Эдди остался один. Он парил над полом, смотрел на своё тело и думал.

— Ну, — сказал он наконец. — Если это комедия, то она очень плохая. Если трагедия — то очень скучная. Если сатира — то, чёрт возьми, я напишу для неё новый акт.

На часах было без десяти двенадцать. До полуночи оставалось меньше двух часов. В три часа пополудни из стены вышла старуха.

Она была махонькой, сторбленной, в платье, которое вышло из моды ещё при королеве Виктории. На голове — чепец, на носу — очки, в руках — вязание. Она вязала шарф или то, что должно было стать шарфом, но из-за того, что старуха вязала уже сто сорок лет, шарф был длиною с Темзу.

— О, — молвила старуха, приметив Эдди. — Новенький?

— Да, — ответил Эдди. — Умер вчера.

— Вчера, — уверенно поправила старуха. — Я слежу за расписанием. Вы прибыли в 3:47 утра.

— Простите, — сказал Эдди. — Вы... вы кто?

— Миссис Арабелла Мэйфлауэр, — представилась старуха, не отрываясь от вязания. — Скончалась в 1887 году. От скуки, между нами. А вы?

— Эдмунд Траурбель. Скончался от неудачной шутки.

— О, — произнесла миссис Мэйфлауэр. — Оригинально.

Из стены тем временем появились ещё фигуры. Мужчина в цилиндре и фраке, с пятном от соуса на жилете, женщина в фартуке и ребёнок — мальчик лет девяти, в лохмотьях и с трубой под мышкой.

— Это те, кто привязан к этому зданию, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Пятеро. Ну и Гюнтер, но он редко выходит из подвала.

— Гюнтер?

— Бывший палач. Очень милый, когда привыкнешь.

Мальчик отделился от стены и направился к Эдди.

— Привет, — сказал он. — Ты комик?

— Был, — поправил Эдди.

— Ты тот, кто умер от смеха, — улыбнулся мальчик. — Я слышал, как Гроббинс рассказывал газетчикам.

— Технически — от собственной рвоты, — сказал Эдди. — Но шутка была неплохая.

— Можно я её услышу?

Эдди вздохнул и рассказал шутку. Тим засмеялся.

— Ты мне нравишься, — сказал он. — Оставайся.

В подвал Эдди спустился через час.

Гюнтер оказался огромным — занимал полкомнаты. Плечи — как шкаф, руки — как две колоды, лицо в шрамах.

— Новенький? — спросил Гюнтер голосом, похожим на трение двух бочек.

— Эдмунд Траурбель. Комик.

— Палач, — представился Гюнтер. — Бывший, в теперь — никто.

— Ты боишься меня? — спросил он.

— Немного, — признался Эдди.

— Правильно. Я боялся себя триста лет.

— Ты комик? Расскажи шутку.

— В чем разница между палачом и врачом?

— Не знаю.

— Палач знает, когда остановиться.

Гюнтер засмеялся — гулко, страшно, так, что стены содрогнулись.

— Хорошая шутка, — сказал он. — Ты остаёшься.

В полночь часы пробили двенадцать. Эдди разинул рот и издал звук. Это был смех. Тихий, хриплый, полупрозрачный, но это был смех.

В комнате сверху кто-то вздохнул — Гроббинс, который допоздна считал выручку.

— Что за... — пробормотал он. — Ветрено, что ли?

Он закрыл окно и лёг спать.

А внизу сидел призрак и улыбался.

Первые две недели загробного существования Эдди посвятил наблюдению. Он наблюдал за клиентами, вдовами и самим Гроббинсом, который вёл учёт в амбарной книге. Наблюдал и за соседями. Миссис Мэйфлауэр вязала, Тим пугал кошек, Гюнтер читал книги на латыни, Сэр Реджинальд почти не разговаривал.

— Вы когда-нибудь закончите этот шарф? — спросил Эдди у миссис Мэйфлауэр.

— А зачем? — ответила она. — Если я закончу, придётся начинать новый.

Однажды вечером Гюнтер подозвал Эдди.

— Ты слышал о Хранителях? — спросил он.

— Нет. А кто это?

— Демоны. Они приходят раз в сто лет и проверяют твой «долг добрых дел». Если ты не рассмешил, не утешил, не изменил жизнь живого — они забирают твоё имя. Ты становишься Никем.

— У меня есть сто лет, — сказал Эдди.

— У тебя есть три месяца, — сказал Гюнтер. — Хранители приходят в декабре.

На следующее утро в бюро пришла миссис Пеннифезер.

— Мой муж умер, — сказала она голосом, в котором не было скорби. — Хочу заказать самые дешёвые похороны. Она торговалась три часа.

— Она вернётся завтра, — сказал Эдди. — Я попробую её рассмешить.

— А если не получится?

— У меня будет ещё восемьдесят девять попыток.

— Восемьдесят девять — это мало, — сказала миссис Мэйфлауэр.

— Для комика — это один неудачный сезон. А я пережил уже три. Миссис Пеннифезер возвратилась в два часа пополудни.

Она подписала документы и, к удивлению Гроббинса, не ушла, а села в кресло с газетой, а рядом на столе стояла чашка мистера Гроббинса Старая, с трещиной на ручке, с отколотым краем. Он пил из неё уже сорок лет — с тех пор как мать заваривала ему чай по утрам перед школой. Он не выбрасывал её, потому что новая чашка стоила денег, а эта ещё вполне пригодна, но правда была в другом: эта чашка помнила всё. Каждую ошибку, каждую скидку и каждый день его жизни. Гроббинс не любил сантименты, но эту чашку он любил и никогда бы в этом не признался. Гроббинс расплыл дешёвые духи, которые купил на распродаже за полцены. — Чтобы смерть пахла розами, а не больницей, — сказал он. Эдди, который в этот момент материализовался из стены, чихнул. Призраки не чихают, но ему показалось, что запах стал ещё сильнее.

— Бедная женщина, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Она пустая. Как шарф, который я вяжу.

— Пустых людей труднее рассмешить, — сказал Гюнтер.

— Зато их легче утратить, — заметил Тим.

В полночь миссис Пеннифезер всё ещё читала. Эдди завис в двух футах от неё. Часы начали бить.

— Кхм, — сказал он.

Миссис Пеннифезер подняла голову.

— Кто здесь? — спросила она.

— Кхм, — повторил Эдди громче.

Она встала. Газета упала на пол.

— Мистер Гроббинс? Вы здесь?

Тишина.

— Хе-хе, — сказал Эдди.

Миссис Пеннифезер побледнела.

— Это... это ты? — спросила она шёпотом.

— Ха, — сказал Эдди.

Она не закричала и не упала в обморок, а улыбнулась.

— Дурак, — сказала она. — Ты всегда был дураком.

Она села обратно в кресло и продолжила читать.

— Она думает, что это муж, — прошептал Тим. — И она не боится.

— Но это не смешно, — сказал Эдди. — Она не рассмеялась.

— Она улыбнулась, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Улыбка — это тоже смех. Только тихий.

Эдди посмотрел на свои руки - полупрозрачные, светящиеся. Он услышал тиканье. Как старые часы, которые завели в последний раз ещё при жизни. — Что это? — спросил он. — Твой счётчик, — сказал Тим, свешиваясь с люстры. — Он будет тикать, пока ты не наберёшь

тысячу. У меня нет тени, — сказал он. — Я даже этого лишился. — Появится, — сказал Тим. — Со временем. После этого он услышал тиканье. Как старые часы, которые завели в последний раз ещё при жизни. — Что это? — спросил он. — Твой счётчик, — сказал Тим. Руки стали чуть менее прозрачными.

— У меня есть доброе дело, — сказал он.

— Три, — поправил Гюнтер. — За три месяца.

— Завтра похороны, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Придут люди и у тебя будет настоящая аудитория.



ЭДМУНД ТРАУРБЕЛЬ (ЭДДИ)
«Комик, который умер на сцене»

Он родился в Лондоне, в семье, которая распалась, когда ему было семь. Отец ушёл к другой женщине, мать осталась одна с двумя детьми и огромными долгами. Эдди был старшим. Он не помнил отца — только запах табака и хриплый голос, который говорил: «Будь мужчиной». Он пытался. Но быть мужчиной в семье, где денег хватало только на хлеб и иногда — на дешёвое печенье, было трудно.

Мать умерла, когда он учился на втором курсе университета. Рак. Быстро. Он не успел попрощаться. Не успел сказать, что любит её. Не успел сказать, что все его шутки — на самом деле о ней. О том, как она улыбалась, когда он рассказывал анекдоты за ужином. О том, как она смеялась, даже когда было больно. О том, как она умерла с улыбкой на лице — потому что он пообещал, что станет знаменитым комиком. Он не стал.

Он бросил университет. Решил, что комедия — это его призвание. Десять лет он выступал в дешёвых пабах, перед пьяными зрителями, которые не помнили его имени на следующее утро. Он писал шутки на салфетках, репетировал перед зеркалом, мечтал о большом зале и тысячах аплодисментов. Но большой зал не приходил. Тысячи аплодисментов не приходили. Приходила только усталость.

Работа в похоронном бюро «Прах и хохот» была случайностью. Он увидел объявление: «Требуется помощник. Зарплата — по договорённости. Опыт не требуется». Он пришёл, и Гроббинс взял его — потому что больше никто не пришёл. Три года он носил гробы, мыл полы, встречал клиентов. И иногда — когда Гроббинс был в хорошем настроении — разрешал ему шутить. Клиенты не смеялись. Гроббинс не смеялся. Но Эдди продолжал.

Он умер на сцене дешёвого паба, рассказывая шутку про налоги. Никто не засмеялся. Но он улыбался — даже мёртвый. Потому что улыбка — это единственное, что остаётся, когда отнимают всё остальное.

После смерти он понял, что его шутки никогда не были плохими. Просто он искал не ту публику. Его публика была здесь — среди призраков, среди забытых, среди тех, кто давно не смеялся. И он нашёл их.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖИВОЙ КОМИК.

Первые зрители пришли через неделю. Женщина лет сорока в чёрном пальто заказала гроб для сестры.

— Денег мало, — сказала она Гроббинсу.

— Хорошие похороны стоят денег. Плохие — дёшево, а очень плохие — бесплатно, но бесплатно мы не работаем.

В полночь Эдди не стал рассказывать шутку. Он запел колыбельную, которую пела ему мать. Девочка лет десяти, сидевшая в углу с книгой, подняла голову.

— Мама, ты слышишь?

— Что, дорогая?

— Кто-то поёт. Про сон. И про то, что бояться нечего.

Женщина посмотрела в пустой угол.

— Спасибо, — сказала она. — Кто бы ты ни был.

Эдди посмотрел на свои руки. Золотистый оттенок стал ярче.

— У нас первый зритель, — сказал он Тиму. — Точнее, две.

К Рождеству у театра появилась постоянная аудитория — человек пять-шесть в неделю. Тим отвечал за спецэффекты. Миссис Мэйфлауэр вязала шарфы и раздавала скорбящим. Гюнтер стоял в дверях и пугал тех, кто хотел уйти. А потом появился живой комик. Леонард «Ленни» Брайтон пришёл заказывать гроб для отчима.

— Правда, что у вас тут призрак выступает? — спросил он. — Тот самый, который умер от смеха?

— Он выступает только по ночам, — сказал Гроббинс. — И не для всех.

— Для кого?

— Для тех, кто верит.

Ленни усмехнулся и ушёл. Но в полночь вернулся с бутылкой виски.

— Ну, давай, призрак. Покажи, на что способен.

Эдди смотрел на него сверху. Часы начали бить. Он открыл рот.

— Добрый вечер. Меня зовут Эдмунд Траурбель. Я мёртв. А вы — Ленни Брайтон, живой комик, который пришёл посмотреть, стоит ли завидовать призраку.

Ленни услышал только тихий, хриплый звук.

— Это ты? — спросил он.

— Я, — сказал Эдди. — Тот, кто умер от шутки. А вы — тот, кто боится, что его шутки умрут раньше него.

Ленни вздрогнул и выбежал. На следующую ночь он вернулся трезвым.

— Я хочу, чтобы ты научил меня смешить по-настоящему.

— Расскажи шутку. Самую страшную. Ту, где ты не герой, а жертва.

Ленни задумался.

— Мой отчим бил меня. Каждый день, а потом он умер. И на его похоронах я сказал: «Наконец-то ты там, где тебе место».

— Иди на сцену. Расскажи эту историю. Без шуток. Просто как есть. И люди засмеются. Не над тобой. Вместе с тобой.

Ленни ушёл. Через месяц Эдди услышал по радио, что Ленни Брайтон стал звездой.

— Ты сделал это, — сказал Тим.

— Он сделал, — сказал Эдди. — Я просто подсказал. Это случилось в феврале. Лондон затянуло туманом.

— Сегодня странный день, — сказал Эдди.

— Все дни странные, — ответил Тим. — Мы же мёртвые.

В полночь Эдди вышел в центр комнаты и увидел себя. Живого, молодого и бледного, в дешёвом костюме.

— Ты, — сказал Эдди.

— Я, — ответил живой. — Тот, кем ты был и тот, кого ты предал.

— Я никого не предавал. Я просто умер.

— Ты сдался, испугался. Ты стоял на сцене и думал: «А что, если они не засмеются?» И ты умер. Не от рвоты. От страха.

— Что тебе нужно?

— Чтобы ты вспомнил, каково это — быть живым. Бояться. Сомневаться. Ненавидеть себя за каждую неудачную шутку.

— Ты был ничтожеством, — продолжал живой. — Ты не стал великим комиком. Ты умер в луже собственной блевотины. Единственное, что тебя спасло от забвения — это то, что Гроббинс использовал твою смерть как рекламу.

— Заткнись! — крикнул Эдди.

— Заставь меня.

Эдди попытался ударить двойника. Рука прошла сквозь него.

— Ты не можешь меня коснуться. Потому что я — это ты.

Эдди опустил руку.

— Ты прав. Я был жалок. Я умер от шутки. Это идиотизм.

— Эдди, нет! — крикнул Тим.

— Сдайся, — сказал живой. — Стань Никем. Это проще.

Эдди закрыл глаза. Вспомнил свои страхи, свои провалы. Вспомнил, как умер.

— Я был жалок. Но это не вся правда.

Он открыл глаза.

— Ты сказал, что я не стал великим комиком при жизни. Это правда, но ты не сказал, что я пытался. Каждый день и каждый вечер. Я выходил на сцену, даже когда боялся. Я рассказывал шутки, даже когда они были плохими.

Он шагнул вперёд.

— Я не стал великим при жизни. Но я стал им после смерти. Не потому, что умер, а потому, что продолжил. Я продолжил выходить на сцену. Даже когда зал пуст. Даже когда зритель один. Даже когда этот зритель — ты.

Он засмеялся. Живой Эдди попятился.

— Ты не можешь...

— Могу. Я могу смеяться над собой. Это единственное, что я умею по-настоящему хорошо. Смеяться над тем, как был глуп. Как боялся и как умер. Потому что если я не буду смеяться, я буду плакать, а плакать — не моя работа.

Он засмеялся снова и к нему присоединились все.

Живой Эдди растворился.

— Ты победил себя, — сказал Тим.

— Не победил. Принял.

К весне слухи о призраке-комике превратились в легенду. Говорили, что если прийти на кладбище Сент-Мэри в полночь и трижды постучать по надгробию Эдмунда Траурбея, можно услышать смех.

— Ты слышал? — сказал Тим. — Нас включают в туристические маршруты!

— Мой смех не продаётся, — сказал Эдди.

— Гроббинс уже продал билеты на месяц вперёд.

Эдди посмотрел на свои руки — золотистые, тёплые. За несколько месяцев он накопил шестьдесят восемь добрых дел. И всё равно чувствовал пустоту.

— Я устал, — сказал он миссис Мэйфлауэр.

— Призраки не устают.

— Не физически, не морально. Каждую ночь одно и то же.

В ту ночь среди зевак он заметил старуху с внуком. Мальчик плакал.

— Почему он плачет? — спросил Эдди.

— Его собака умерла. Лабрадор. Мальчик не понимает, почему собака не вернётся.

— Я хочу ему помочь.

— Ты не можешь. Он слишком мал. Услышит твой смех и испугается.

— А если не смех? Если... лай?

В полночь Эдди открыл рот и залаял. Негромко. Так, как лает старая больная собака. В этот момент наверху, в конторе, Гроббинс открыл сейф. Он достал фотографию отца. — Он никогда не улыбался, — сказал он. — Как и я. Гроббинс делал это каждый вечер перед сном — проверял, все ли деньги на месте, не случилось ли чего, но сегодня он задержался у сейфа дольше обычного. Он достал не деньги — он достал чашку. Ту самую, старую, с трещиной на ручке. Он держал её в сейфе последние двадцать лет — на всякий случай.

Он открыл книгу, но вместо цифр написал: «Сегодня я впервые пожалел, что не умею считать улыбки. Улыбок было больше, чем пенсов- это неприбыльно, но почему-то приятно».

Он посмотрел на чашку — старую, треснутую — и подумал: «Может, дело не в деньгах. Может, дело в трещинах. В тех, которые мы замечаем, и в тех, которые не замечаем».

Он отпил глоток чая который остыл, но Гроббинсу показалось, что он стал теплее. Или это просто трещина на чашке так отражала свет?

Он пожал плечами и закрыл книгу.

«Вдруг та, что на столе, разобьётся», — думал он. Он посмотрел на чашку, провёл пальцем по трещине и убрал обратно. Потом закрыл сейф и пошёл спать на гроб. Ему приснилась мама. Она заваривала чай. Чашка была целой.

Мальчик поднял голову.

— Бабушка, это Рекс.

— Что, милый?

— Рекс. Он здесь.

— Это ветер.

— Нет. Это Рекс. Я знаю его лай.

Эдди залаял снова. Мальчик улыбнулся.

— Спасибо, Рекс. Я знал, что ты не ушёл.

Бабушка перекрестилась.

— Это доброе дело? — спросил Эдди.

— Это больше, чем доброе дело, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Это надежда.

На следующее утро Гроббинс нашёл на пороге письмо детским почерком:

«Спасибо, что вернули Рекса. Он хороший пёс. Я буду приходить каждую субботу. С уважением, Томми (5 лет)».

Эдди посмотрел в окно. Луна светила холодным серебряным светом. — Она холодная, — сказал он. — Как и мы, — сказал Тим. — Но иногда она становится тёплой, — добавила миссис Мэйфлауэр. — Когда кто-то улыбается.

Тим спрыгнул с подлокотника и подлетел к Эдди.

— А теперь пойдём в подвал, — сказал он. — Гюнтер не спит. Гюнтер никогда не спит. Он читает. Книги на латыни. Я не понимаю ни слова, но он говорит, что это помогает ему не думать о прошлом.

— Гюнтер — это тот, кто... — начал Эдди.

— Палач, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Не бойся этого слова. Он был палачом. В маленьком немецком княжестве. Казнил трёхсот человек. Не потому что хотел. Потому что был приказ. Потом казнили его. За ошибку — обезглавил не того дворянина.

— И он здесь? В подвале?

— Здесь, — сказала миссис Мэйфлауэр. — Триста лет. Триста лет он сидит в подвале и читает книги на латыни. Иногда я спускаюсь к нему — приношу шарф, чтобы он мог за него держаться. Гюнтер боится, что если отпустит нить, то потеряется. В себе. В своей вине. В своих мыслях.

Эдди встал.

— Пойдём, — сказал он Тиму. — Покажи мне Гюнтера.

Они пошли по коридору. Стены были старыми, обшарпанными, с обоями, которые помнили ещё викторианскую эпоху. На обоях были цветы — бледные, выцветшие. И на каждой цветке, если присмотреться, была капля росы — или слеза.

Подвал находился в конце коридора, за тяжёлой дубовой дверью. Тим прошёл сквозь неё, не задумываясь. Эдди задержался на секунду — прикоснулся к дереву рукой. Дерево было

твёрдым, холодным, настоящим. Не как стены, сквозь которые он проходил без труда. Это дерево не пускало его. Оно помнило. Оно помнило, что такое быть живым.

— Ты идёшь? — донёсся голос Тима.

— Иду, — сказал Эдди и прошёл сквозь дверь.

Подвал был большим — гораздо больше, чем казалось снаружи. Каменные стены, сводчатый потолок, пол, выложенный булыжником. В углу стоял старый дубовый стол, на котором горела свеча. Живой огонь колыхался от сквозняка.

Гюнтер сидел за столом. Он был огромным — даже сидя, он занимал полкомнаты. Плечи — как шкаф, руки — как две колоды, лицо изрыто шрамами. На нём был тёмный балахон — единственная одежда, которая помнила его ещё живым.

В руках Гюнтер держал книгу — большую, в кожаном переплёте. Он водил пальцем по строкам, шевеля губами. Латынь. Эдди узнал несколько слов: «mors» — смерть, «vita» — жизнь, «penitentia» — раскаяние.

— Гюнтер, — сказал Тим, подлетая к столу. — Это новенький. Эдди. Он умер сегодня. В пабе. Прямо на сцене.

Гюнтер поднял голову. Глаза у него были тяжёлыми, свинцовыми, с красными прожилками. Но в них мелькнуло что-то детское, беззащитное.

— Уходи, — сказал он. Голос был низким, гулким, как будто он говорил из бочки. — Я не разговариваю с новенькими. Новенькие уходят. Новенькие становятся Никем. Я не хочу знать ваших имён. Память — это боль.

— Он не уйдёт, — сказал Тим. — Я видел его. Он смешной. Он заставил миссис Пеннифезер улыбнуться. А она не улыбалась три года.

Гюнтер посмотрел на Эдди с интересом.

— Ты комик? — спросил он.

— Был, — сказал Эдди. — Теперь я мёртвый комик. Это почти то же самое, только зрителей ещё меньше.

Гюнтер не засмеялся. Но уголки его губ дрогнули.

— Расскажи шутку, — сказал он.

— Прямо сейчас?

— Да. Я не слышал шуток триста лет. Последний раз, когда я слышал шутку, меня казнили. Шутка была плохой. Палач сказал: «Не волнуйся, это не больно». А потом отрубил мне голову. И это было больно.

Эдди задумался. Триста лет без шуток — это много. Триста лет без смеха — это смерть. Настоящая смерть.

— Знаешь, — сказал Эдди, садясь на пол, — почему палачи не ходят на свидания?

— Почему? — спросил Гюнтер.

— Потому что после первого поцелуя они всегда думают: «Это было быстро. Как в работе».

Гюнтер замер. Тим замер. Даже свеча на столе, казалось, перестала гореть.

А потом Гюнтер засмеялся. Гулко, низко, раскатисто — так, что стены подвала задрожали. Смех вырывался из него, как лава из вулкана, который спал триста лет и наконец проснулся. Тим захихикал — сначала тихо, потом громче. Эдди сидел на полу и улыбался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ИНСПЕКТОР НЕБЕСНОГО ПОРЯДКА.

На следующее утро — если, конечно, можно назвать утром время, когда призраки перестают делать вид, что спят, и начинают делать вид, что бодрствуют, — Эдди проснулся на дубовом гробу с ощущением, что кто-то всю ночь перекалывал его внутренности с места на место. Внутренностей, впрочем, у него больше не было — как и всего остального, что составляло тело, но привычка чувствовать, казалось, умирала медленнее, чем сам Эдди.

Он открыл глаза. Сквозь мутные стёкла похоронного бюро пробивался лондонский рассвет — серый, водянистый, похожий на чай, который Гроббинс заваривал уже в третий раз, потому что экономил на заварке. Тим всё ещё висел на люстре, но теперь он не раскачивался, а тихо посапывал — призраки не нуждаются во сне, но Тим считал, что «сон создаёт иллюзию нормальной жизни, а без иллюзий жить или не жить совсем скучно».

Эдди сел и огляделся. Он заметил на сундуке старую фотографию. — Это моя мать, — сказала миссис Мэйфлауэр, проследив за его взглядом. — Она умерла, когда я была молодой. — Она улыбается, — сказал Эдди. — Она счастлива, — ответила миссис Мэйфлауэр. — Была. Когда-то. За прошедшую ночь он успел привыкнуть к этому месту — к запаху дерева и воска, к тихому позвякиванию хрустальных подвесок, к призракам, которые шуршали по углам, как осенние листья, но привыкнуть к мысли, что он теперь — один из них, было труднее. Он был мёртв. Настоящим образом мёртв. Не «устал и заснул», как говорил хозяин Тима его матери, а мёртв. Без вариантов и без возврата.

— Ты слишком рано проснулся, — сказал Тим, не открывая глаз. — Призраки не должны просыпаться рано. Призраки должны просыпаться поздно или никогда. Это написано в регламенте.

— Каком регламенте? — спросил Эдди.

— Небесного Порядка, — сказал Тим, открывая один глаз. — Пункт 3, параграф 7: «Призракам рекомендуется соблюдать режим бодрствования, синхронизированный с фазами луны. Нарушение режима карается штрафом в размере одного доброго дела».

— Ты выучил регламент?

— Выучил, — сказал Тим с гордостью. — На всякий случай. Чтобы меня не обманули. Призраки — доверчивые. Особенно маленькие.

Эдди хотел ответить, но не успел. Потому что в этот момент в конторе, где мистер Гроббинс раскладывал бумаги по папкам. А делал он это каждое утро, даже в выходные, потому что порядок в бумагах — это порядок в деньгах, а порядок в деньгах — это порядок в жизни. Внезапно появился он.

Инспектор Уильям Бланк из Небесного Порядка, Отдел контроля за призрачной активностью.

Он появился не из трещины в воздухе, как Регистратор в пабе. Он появился из двери — обычной деревянной двери, которая вела на улицу. Он открыл её, вошёл, закрыл за собой и огляделся так, будто был здесь уже тысячу раз. И, возможно, так оно и было. Бланк проверял призраков в этом районе уже сто лет. Сто лет он ходил по одним и тем же улицам, заходил в одни и те же дома, видел одни и те же лица — живые и мёртвые — и заполнял одни и те же бланки.

Мистер Гроббинс не заметил Бланка. Живые не замечают призраков, если только те не прикладывают специальных усилий, а Бланк не прикладывал усилий. Он делал свою работу, а работа заключалась в том, чтобы наблюдать, фиксировать, отчитываться. Не вмешиваться, не помогать и не мешать.

— Эдмунд Траурбель, — сказал Бланк, поднимая голову к потолку, где на люстре висел Тим, а на дубовом гробу сидел Эдди. — Призрак третьей категории. Привязка — территория бюро «Прах и хохот». Радиус действия — три метра в каждую сторону от здания. Добрые дела на текущий момент — сорок восемь. Прогресс — ниже среднего.

Голос у Бланка был монотонным, безжизненным, как у диктора, который читает новости уже тридцать лет и устал от них так сильно, что перестал понимать смысл слов.

— Вы кто? — спросил Эдди, хотя уже догадался.

— Инспектор Бланк, — ответил тот, доставая из портфеля стопку бумаг. — Небесный Порядок, Отдел контроля. Ваше дело передано мне. Я буду проверять ваш прогресс раз в неделю, а иногда чаще или реже. В зависимости от загруженности.

— А что вы проверяете?

— Всё, — сказал Бланк. — Количество добрых дел, качество, весомость смеха, аутентичность реакций. Некоторые призраки пытаются жульничать. Щекочут живых. Щекотка вызывает смех, но Небесный Порядок не засчитывает щекотку как доброе дело. Почему? Потому что щекотка — это физическое воздействие. А доброе дело должно быть душевным. Так написано в регламенте. Пункт 47, параграф 12.

— Я не щекочу людей, — сказал Эдди. — Я комик и я шучу.

— Это засчитывается, — кивнул Бланк. — Если шутка смешная. Если нет — не засчитывается. Критерии оценки прописаны в приложении 3 к пункту 47. Там всё подробно. Объём смеха, продолжительность, количество вовлечённых лиц, коэффициент искренности.

Он протянул Эдди бумагу. Бумага была исписана мелким шрифтом — так мелко, что даже если бы у Эдди были живые глаза, он бы не разобрал ни слова.

— Я не могу это прочитать, — сказал Эдди.

— Это не важно, — сказал Бланк. — Важно то, что вы соблюдаете правила. А правила просты: одна тысяча добрых дел за один год.

Он сел на стул — тот самый, на котором обычно сидели клиенты, когда заказывали гробы. Стул скрипнул, но не потому что Бланк был тяжёлым — призраки не имеют веса, — а потому что стул был старым и скрипел от любого прикосновения.

— Начнём, — сказал Бланк. — Первичный опрос. Вопрос первый: как вы умерли?

— Инфаркт, — сказал Эдди. — На сцене. В середине шутки.

— Какая шутка?

— Про смерть и налоги.

Бланк записал что-то в бланк. Его почерк был мелким, аккуратным, без единой пометки.

— Вопрос второй: есть ли у вас сожаления о том, что вы не успели сделать при жизни?

— Много, — сказал Эдди. — Не успел стать знаменитым. Не успел купить дом. Не успел завести собаку. Не успел сказать матери, что люблю её, хотя она и так знала.

— Достаточно, — перебил Бланк. — Вопрос третий: считаете ли вы, что заслуживаете реинкарнации?

Эдди задумался. Он не убивал, не крал, не предавал. Он просто был неудачником. Неудачником, который работал в похоронном бюро и рассказывал плохие шутки в дешёвых пабах.

— Не знаю, — сказал он наконец.

— Ответ «не знаю» не принимается, — сказал Бланк. — Регламент требует определённости. Скажите «да» или «нет».

— Нет, — сказал Эдди. — Не заслуживаю.

Бланк записал. Лицо его не изменилось — оно вообще никогда менялось.

— Вопрос четвёртый: что вы готовы сделать, чтобы набрать тысячу добрых дел?

— Всё, — сказал Эдди. — Я готов шутить каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Я готов стоять на голове. Глотать огонь. Танцевать чечётку на гробах.

Он запнулся, потому что понял, что говорит правду. Он действительно был готов на всё. Потому что альтернатива — стать Никем — была хуже смерти.

— Вопрос пятый, последний, — сказал Бланк. — Есть ли у вас вопросы ко мне?

Эдди посмотрел на инспектора. На его серый костюм, золотые пуговицы, портфель, бланки. На его лицо, которое не выражало ничего.

— Да, — сказал Эдди. — Вы когда-нибудь улыбались?

Бланк замер. Ручка застыла в его руке.

— Это не относится к делу, — сказал он.

— Но я всё равно спрашиваю.

Бланк молчал. Сто лет молчания — это много. Сто лет без улыбки — это вечность.

— Давно, — сказал он наконец. — Очень давно. Я не помню когда. Я не помню почему. Я не помню, как это делается.

Он положил ручку в портфель. Закрыв его. Застегнул замок.

— Опрос окончен, — сказал он. — Следующая проверка — через неделю. За это время вы должны набрать не менее двадцати добрых дел. Иначе — рапорт о недостаточном прогрессе. Рапорт ведёт к сокращению отсрочки. Сокращение отсрочки ведёт к статусу Никто.

— К ничему? — переспросил Эдди.

— К буквально ничему, — сказал Бланк. — К отсутствию всего. К пустоте. К тишине. К тому, что хуже смерти. Смерть — это событие. А Никто — это отсутствие событий.

Он встал. Поправил галстук. Направился к двери.

— Подождите, — сказал Эдди. — У меня есть ещё один вопрос.

Бланк обернулся.

— Кто вы были при жизни?

— Никто, — сказал Бланк. — Я был никем. Мелкий клерк в министерстве финансов. Сидел в кабинете, заполнял бумаги, считал чужие деньги. Умер от пневмонии. Простудился в нетопленном кабинете. Никто не пришёл на мои похороны. Никто не заплакал. Никто не вспомнил. Я стал призраком, потому что мне некуда было идти. И я пошёл в Небесный Порядок. Потому что там пахло бумагой. Как при жизни. Как дома.

Он открыл дверь. Сделал шаг.

— До встречи, мистер Траурбель, — сказал он. — Я надеюсь, вы наберёте тысячу. Но я не верю в это. Я ни во что не верю. Веровать — это привычка живых. А я только существую.

Дверь закрылась. Бланк исчез.

Эдди остался один — с Тимом, который всё это время висел на люстре и слушал, не издавая ни звука.

— Он грустный, — сказал Тим наконец. — Грустнее, чем мы. Грустнее, чем Гюнтер. Он забыл, как улыбаться. А без улыбки человек — не человек. Даже мёртвый.

— Я заставлю его улыбнуться, — сказал Эдди.

— Ты думаешь?

— Я знаю. Я комик. Это моя работа.

Тим спрыгнул с люстры, кувыркнулся в воздухе и приземлился на гроб, где лежало тело Эдди.

— Тогда начинай, — сказал он. — Времени мало. Год — это не вечность.

Эдди посмотрел на свои руки — полупрозрачные, светящиеся в темноте слабым золотым светом. Сорок восемь добрых дел. Девятьсот пятьдесят два осталось. Триста шестьдесят четыре дня.

— Я справлюсь, — сказал он.

В конторе внизу мистер Гроббинс чихнул. Ему показалось, что в комнате стало холоднее. Он посмотрел на термометр — плюс шестнадцать. Посмотрел на дверь — закрыта. Посмотрел на окно — заперто. Потом перевёл взгляд на свою чашку — старую, треснутую, с отколотым краем. Она стояла на краю стола, в опасной близости от края. Гроббинс подвинул её ближе к себе. Потом подумал и поставил в сейф.

— Сквозняк, — сказал он и вернулся к подсчётам.

А на полу, у его ног, кто-то нарисовал мелком маленький смайлик. Гроббинс не заметил. Но смайлик остался. Тем временем в подвале, где Гюнтер читал книгу на латыни, произошло событие, которое нельзя было назвать иначе, чем чудо. Книга, которую палач держал в руках триста лет, вдруг закрылась сама собой. Гюнтер уставился на неё с недоумением.

— Что это? — спросил он у темноты.

Темнота не ответила.

Он открыл книгу снова. Страница, на которой он остановился, была озаглавлена «De risu» — «О смехе». Он не помнил, чтобы раньше видел эту главу. Он не помнил, чтобы в этой книге вообще была глава о смехе.

Гюнтер начал читать. «Смех, — говорилось в книге, — это единственное, что не подчиняется законам природы. Смех не имеет веса, но может поднять тяжесть с души. Смех не имеет цвета, но может осветить самую тёмную комнату. Смех — это оружие против смерти. Не потому что смерть боится смеха. А потому что смех не боится смерти».

Гюнтер закрыл книгу. Задул свечу.

В темноте он улыбнулся. Впервые за триста лет.

И где-то в канцелярии Небесного Порядка загорелся ещё один бланк. Регистратор в синем галстуке посмотрел на него и нахмурился.

— Опять Траурбель, — сказал он. — Сорок девять добрых дел. Заставил улыбнуться палача. Снова.

— Палачи — сложная категория, — сказал Рудгер. — Их смех ценится в пять раз дороже.

— Тогда почему только одно дело?

— Потому что палач улыбнулся. Не засмеялся. Улыбка — это половина дела. По регламенту.

Бернард поставил печать на бланк. Бланк погас.

— Ещё девятьсот пятьдесят один, — сказал он. — Долгий путь.

— Долгий, — согласился Рудгер.

Они взяли следующие бланки и продолжили работу. А в подвале похоронного бюро «Прах и хохот» бывший палач сидел в темноте и улыбался. Улыбался главе о смехе, которая появилась в его книге из ниоткуда. Улыбался тому, что даже после смерти может быть что-то, кроме вины, боли и раскаяния.

Он не знал, что это было началом.



МИСТЕР САЙЛАС ГРОББИНС

«Похоронный агент, который считал не те цифры»

Он родился в похоронном бюро. Буквально. Его мать работала здесь уборщицей, отец — владельцем. Роды были тяжёлыми, и мать умерла через неделю. Отец не простил ему этого. Он никогда не говорил об этом вслух, но Сайлас знал: каждый раз, когда отец смотрел на него, он видел лицо умершей жены.

Отец научил его считать деньги. «Деньги — это единственное, что не предаёт, — говорил он. — Люди умирают. Деньги остаются». Сайлас выучил этот урок хорошо. Слишком хорошо. Он считал каждую копейку, экономил на всём, спал на гробу, чтобы не платить за квартиру. Он не заводил друзей, не заводил семью, не заводил даже собаку — после того, как Пенни умерла.

Пенни была его единственной любовью. Маленькая чёрная собака с белым пятном на лбу, которую он купил на рынке за один пенс. Она прожила с ним пятнадцать лет. Умерла у него на руках. Он плакал — впервые в жизни. И поклялся больше никогда не плакать. Он сдержал клятву. Он не плакал, даже когда отец умер. Даже когда клиенты плакали у его стола. Даже когда Эдди умер на сцене, и он остался один — совсем один.

А потом Эдди вернулся. Призраком. И Гроббинс понял, что его клятва была глупой. Плакать — это не слабость. Плакать — это значит, что тебе есть что терять. А если есть что терять — значит, ты жив. Даже после смерти. Особенно после смерти.

Он до сих пор хранит в сейфе первую записку Эдди: «Спасибо за гроб. Он был дешёвый, но удобный». Он перечитывает её, когда никто не видит. И улыбается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТЕАТР В БЕЗДНЕ.

Бездна оказалась не такой уж пустой. Сначала Эдди ничего не видел и не слышал. Только ощущение. Он был точкой в бесконечном сером пространстве.

— Я — Никто, — сказал он. Голос не прозвучал, но он знал, что сказал.

Сколько он пробыл в бездне — не знал. Время здесь не имело смысла.

Однажды появился свет. Белый, чистый и знакомый голос Миссис Мэйфлауэр.

— Вы здесь? — спросил Эдди.

— Мы всегда здесь. Просто ты не мог нас видеть. Потому что слишком много думал о себе. В белом свете проступили очертания. Тим. Миссис Мэйфлауэр. Гюнтер.

— Как вы здесь оказались?

— Бездна — это не место, а состояние. Когда перестаёшь быть кем-то, становишься всем. Эдди посмотрел на руки. Они снова стали видимыми. Белыми, чистыми.

— И что мне теперь делать?

— То же, что и всегда. Смешить. Только теперь не для добрых дел. Не для славы. А просто потому, что ты можешь.

— А где моя сцена?

— Везде. Бездна — самая большая сцена в мире.

Эдди открыл рот и засмеялся. Смех разнёсся, отражался от невидимых стен, умножался. И бездна начала наполняться. Сначала светом, потом цветом, а потом звуками.

Он увидел Лондон. Увидел Томми, который вырос и рассказывал детям о призраке, лающем собакой. Увидел миссис Пеннифезер с новым лабрадором. Увидел Ленни на сцене.

— Я здесь, — сказал Эдди. — Я всегда здесь. В вашем смехе.

Бездна ответила эхом. Тысячами голосов. Живых и мёртвых.

— Спасибо, что были в зале.

Первое время Эдди думал, что бездна принадлежит только ему. Он парил в ней, рассказывал шутки, а бездна откликалась тихим, почти неслышным смехом.

— Это моя пустота, — говорил он. — Моя сцена. Моя аудитория, но однажды он услышал шаги.

— Здесь кто-то есть?

Из серого тумана появилась фигура. Расплывчатая, неясная, как воспоминание о сне.

— Эдди, — сказала фигура.

— Кто ты?

— Я — ты. Тот, кем мог бы стать, если бы не умер. Бухгалтер. У меня есть имя, дом, семья. Я жив, но я не смеюсь. Никогда.

— Зачем ты здесь?

— Чтобы напомнить, что такое выбор. Ты выбрал комедию и умер. Я выбрал безопасность и живу. Кто счастливее — вопрос.

— Ты несчастлив.

— Я спокоен. Это не одно и то же.

— Знаю. Спокойствие — когда ничего не болит. Счастье — когда болит, но ты улыбаешься.

Эдди рассказал шутку про бухгалтера, который пришёл на небеса и попросил отчёт о расходах. Фигура замерла. А потом засмеялась. Впервые в жизни.

— Это была хорошая шутка.

— Это была правда.

Фигура начала таять.

— Ты уходишь?

— Я остаюсь. Но теперь я другой. Я — Никто. Как и ты.

Она исчезла. Но Эдди знал — она здесь. Рядом. Среди других таких же.

— Здесь есть ещё кто-нибудь?

Пустота ответила присутствием. Тысячами. Миллионами.

— Кто вы?

— Мы — Никто. Те, кто потерял имена. Те, кого забыли. Мы ждём того, кто рассмешит нас.

— Я не могу вас рассмешить. У меня нет шуток.

— Тогда придумай новые.

Эдди думал долго. А потом сказал:

— Знаете, в чём разница между Никем и Кем-то? Кто-то боится стать Никем, а Никто уже ничего не боится. Потому что ему нечего терять кроме смеха, но смех не теряется. Он переходит из рук в руки.

Пустота затихла. А потом засмеялась. Тихо, неуверенно, как дети, которые учатся ходить.

— Это была хорошая шутка, — сказал кто-то.

— Это была плохая шутка, — сказал другой.

— Но она заставила нас улыбнуться.

— А улыбка — маленькая победа.

Эдди стоял в центре этого смеха — маленький, невидимый, Никто — и улыбался.

— Я дома, — сказал он.

— Ты всегда был дома, — ответила пустота. — Просто не знал.

Идея пришла не сразу. Сначала Эдди просто бродил по пустоте и слушал тех, кто населял её. Тысячи. Миллионы. Они были разными. Те, кто потерял имена из-за Коллекторов. Те, кто отдал их добровольно. Те, кто родился Никем.

Но у всех было общее: они не смеялись.

— Вы когда-нибудь пробовали? — спросил Эдди у одной фигуры.

— Пробовали что?

— Смеяться.

— Зачем?

— Затем, что это весело. Затем, что это — единственное, что остаётся, когда всё ушло.

— У меня ничего не осталось.

— А пустота — разве не сцена?

— Я не умею играть.

— Научу. Как тебя звали?

— Не помню.

— Тогда я назову тебя Улыбка. Потому что ты улыбнёшься. Просто ещё не сейчас. Он рассказал шутку про верблюда, который танцевал в пустыне. Фигура замерла. А потом засмеялась.

— Это была хорошая шутка.

— Это была плохая шутка. Но она сработала.

— Что теперь?

— Теперь ты будешь рассказывать её другим.

Театр Эдди рос быстро. Каждый день приходили новые Никем. Эдди давал им имена: Улыбка, Вздох, Тишина, Шёпот, Луч, Тень. Имена, которые не были именами. Но которые давали надежду.

Однажды в пустоте появился Гюнтер.

— Ты нужен нам там, — сказал он. — В бюро.

— Я нужен здесь. Там я был комиком. Здесь — режиссёр.

— А ты не можешь делать и то и другое?

— Не могу. У меня нет имени. Я — Никто. Но я могу послать им подарок.

— Какой?

— Смех.

Спектакль, который поставил Эдди, не имел названия. В нём не было слов. Только смех. Тихий, почти неслышимый. Но такой, от которого пустота начала вибрировать.

Никем сидели в невидимом зале и слушали. Они не аплодировали — у них не было рук. Но они чувствовали.

— Завтра новый спектакль, — сказал Эдди. — О комике, который умер от шутки. И продолжал шутить. Даже после смерти. Особенно после смерти.

— Это твоя история? — спросила Улыбка.

— Это наша история.

Слух о театре в пустоте распространился быстро. Только теперь рассказчиками были не газетчики, а те, кто никогда не говорил вслух. Те, кто общался тишиной.

— Ты слышал? — спросила одна пустота другой.

— Там, в центре, какой-то комик ставит спектакли. Говорят, очень смешно.

— Но мы не умеем смеяться.

— Оказывается, умеем. Просто забыли.

И они шли. Тысячи. Миллионы. Бесконечность. Через серый туман, через тишину, через пустоту. К театру. К Эдди. К смеху.

Эдди не ждал такого наплыва.

— Сколько их? — спросил он у Улыбки.

— Не знаю. Слишком много.

— Что мне делать?

— Улыбаться. Это твоя работа. Улыбаться тем, кто забыл, как это делается.

Эдди вышел на сцену.

— Добрый вечер. Меня не зовут никак. У меня нет имени. Я — Никто. Как и вы. Но это не важно. Важно то, что мы здесь. Вместе. В пустоте.

Он рассказал шутку про человека, который потерял всё и встретил себя.

— Они посмотрели друг на друга. Первый сказал: «Ты изменился». Второй ответил: «Нет. Это ты изменился. Я остался прежним. Тот, кто умел смеяться».

— А потом?

— А потом они обнялись и заплакали. Потому что поняли: они — одно и то же. Просто один потерял имя, а другой — нет. Но имя — не главное. Главное — смех.

Зал засмеялся.

— А теперь улыбнитесь соседу. Тому, кто сидит рядом. Тому, у кого нет имени.

И они улыбнулись. Тысячи. Миллионы. Бесконечность.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ТЕАТР ПРИХОДИТ В МИР ЖИВЫХ.

В похоронном бюро «Прах и Хохот» происходили странные вещи. Гроббинс обнаружил, что его заведение стало невероятно популярным.

Афиша, которую мистер Гроббинс собственноручно прибил к забору рядом с входной дверью, провисела ровно шесть часов. За это время её успели прочитать семнадцать человек. Шестеро прочитали и пошли дальше — приняли объявление за шутку (что было иронично, учитывая, что речь шла о конкурсе шуток). Четверо остановились, перечитали, пожали плечами и тоже пошли дальше, но уже медленнее, обдумывая. Трое сфотографировали на телефоны и отправили друзьям с подписью: «Ты только посмотри, до чего докатились похоронные бюро». Один позвонил по указанному номеру и договорился прийти. И трое — миссис Пеннифезер, её соседка снизу и её соседка сверху (обе вдовы, обе в чёрном, обе с выражением лица, которое говорило: «Нам всё равно, что там будет, главное — выйти из дома») — пообещали прийти вшестером, потому что «шесть — это компания, а три — это уже похороны, а на похоронах мы и так бываем слишком часто».

Гроббинс сидел в конторе и пересчитывал предполагаемую выручку. Пять пенсов за вход — это примерно два с половиной фунта, если придут пятьдесят человек. Чай и печенье — ещё фунт. Сувениры — ещё полфунта. Итого — четыре фунта за вечер. Не густо. Но если проводить такие вечера каждый день — семьсот тридцать фунтов в год. А это уже серьёзно.

— Два фунта и семь пенсов, — пробормотал он, записывая цифру в бухгалтерскую книгу.

— Плюс жизнь, — сказал Эдди, который сидел на стуле напротив. — Ты забыл про жизнь, Гроббинс. Жизнь тоже чего-то стоит.

— Жизнь ничего не стоит, — ответил Гроббинс, не поднимая головы. — Жизнь — это расходы. Смерть — это доход. Вот почему я выбрал эту профессию. В смерти больше прибыли, чем в жизни.

— И ты не боишься, что когда-нибудь умрёшь и окажешься по ту сторону? — спросил Эдди.

— Я не верю в смерть, — сказал Гроббинс. — Я верю в цифры.

Первой пришла миссис Пеннифезер. Она вошла в бюро ровно в шесть, ни секундой раньше, ни секундой позже. На ней было всё то же чёрное платье, та же шляпка с вуалью, те же стоптанные ботинки.

— Добрый вечер, мистер Гроббинс, — сказала она, снимая шляпку. — Я пришла на ваш конкурс.

— Проходите, — сказал Гроббинс. — Первый ряд — десять пенсов. Второй — пять. Третий — бесплатно. Чай и печенье — за дополнительную плату.

— Я сяду в первый ряд, — сказала миссис Пеннифезер, доставая монету. — Я хочу видеть всё. Даже то, что не видно.

Она прошла в зал прощаний, села на стул в первом ряду и сложила руки на коленях.

— Ну, давай, мертвец, — сказала она в пустоту. — Рассмеши меня. Если сможешь.

Эдди стоял за кулисами и смотрел на неё. На её морщинистое лицо, на усталые глаза, на руки, которые дрожали. Он думал о том, что эта женщина потеряла мужа. Пусть плохого, пусть никчёмного, пусть умершего на диване после обеда в воскресенье — но мужа. С которым прожила тридцать лет. Который был частью её жизни.

— Миссис Пеннифезер, — сказал он, выходя из-за занавески. Она не видела его — живые не видят мёртвых. Но она слышала.

— Я здесь, — сказал он. — Я постараюсь рассмешить вас. Не потому что мне нужны ваши пять пенсов. А потому что вы давно не смеялись.

— Смехи, — сказала миссис Пеннифезер. — Смехи, пока я не передумала.

Эдди начал. Он рассказывал шутки. Одну за другой. Про брак, про смерть, про налоги, про кошек и собак, про политиков и королевскую семью. Те самые шутки, которые провалились в пабе «Подкова».

Миссис Пеннифезер молчала. Не улыбалась. Не смеялась.

— Плохо, — сказала она после пятой шутки. — Ты можешь лучше. Я знаю. Я слышала, как ты шутишь по ночам. Когда думаешь, что никто не слышит. Ты смешной, когда не стараешься.

Эдди растерялся. Он не знал, что миссис Пеннифезер слышит его ночные репетиции.

— Я не стараюсь, — сказал он. — Я просто говорю.

— Тогда говори, — сказала миссис Пеннифезер. — Не о том, что беспокоит тебя. О том, что беспокоит меня.

Эдди задумался. Что беспокоит миссис Пеннифезер? Смерть мужа? Одиночество? Страх, что она умрёт и никто не заметит?

— Знаете, почему мужчины умирают на диване? — спросил он.

— Почему? — спросила она.

— Потому что даже в смерти они не могут дойти до кровати.

Тишина. Тяжёлая, гулкая. А потом миссис Пеннифезер фыркнула. Один раз. Тихо. Потом — хмыкнула. Громче. Потом — засмеялась.

Это был не тот смех, которым смеются в театрах. Это был смех, который рождается из боли. Из многолетней боли, которую человек носит в себе, как камень за пазухой, и вдруг понимает, что камень можно выбросить.

Она смеялась так, что слёзы текли по её морщинистым щекам. Смеялась так, что шляпка с вуалью упала на пол.

— Это было ужасно, — сказала миссис Пеннифезер, вытирая слёзы. — И смешно. Он и правда умер на диване. Я три года не могла на этот диван смотреть. А теперь... теперь я, кажется, смогу.

Она встала. Подняла шляпку.

— Когда следующее выступление? — спросила она.

— Завтра, — сказал Эдди. — В это же время.

— Я приду, — сказала миссис Пеннифезер. — И приведу соседок.

Она направилась к двери. На пороге остановилась.

— Спасибо тебе, мертвец, — сказала она. — Ты вернул мне улыбку. Я забыла, как это — улыбаться. А теперь вспомнила. И это дороже любого гроба.

Она вышла. Дверь закрылась.

В зале стало тихо. Тим спрыгнул с люстры.

— Пятьдесят два, — сказал он. — Миссис Пеннифезер засмеялась. Громко. Искренне. Это считается за два. Потому что она давно не смеялась.

— Я не ради счётчика, — сказал Эдди. — Я ради неё.

— Я знаю, — сказал Тим. — Поэтому ты и смешной. Не потому что у тебя хорошие шутки. А потому что тебе не всё равно.

Он перекувыркнулся в воздухе и повис на люстре.

— Ты знаешь, что она сделала, когда умер её муж? — спросил он.

— Нет, — сказал Эдди.

— Она три дня не вызывала врача. Сидела рядом с ним. Смотрела на него. Ждала. Может быть, что он откроет глаза. Может быть, что он скажет: «Это была шутка. Я не умер. Я просто притворялся».

— Ты слишком много знаешь для девятилетнего, — сказал Эдди.

— Я умер в девять, — сказал Тим. — Но я жил долго. Сто пятьдесят лет. Этого достаточно, чтобы узнать о людях всё.

Он посмотрел на Гроббинса, который стоял в дверях и смотрел на пустой стул.

— Он тоже когда-то любил, — сказал Тим. — Я видел. У него была женщина. Давно. Она работала в цветочном магазине через дорогу. Он покупал у неё цветы для клиентов. А потом — для себя. А потом — каждый день. А потом она уехала. В другой город. С другим мужчиной. Гроббинс остался один. С цветами. С цифрами. Цифры не предают.

— Я заставлю его улыбнуться, — сказал Эдди.

— Ты думаешь? — спросил Тим.

— Я знаю, — сказал Эдди. — Это только вопрос времени.

Он подошёл к стене, за которой жила Мэгги, и постучал. Тук-тук-тук. Ответа не было, А в конторе Гроббинс всё ещё смотрел на пустой стул. Он не заметил, как Джеймс вытер стол и случайно подвинул его новую чашку — ту самую, с трещиной на ручке — ближе к краю. Чашка покачнулась, но не упала. Гроббинс, не глядя, отодвинул её на безопасное расстояние.

— Осторожнее, — сказал он Джеймсу. — Эта чашка — не просто чашка. Это память.

— О чём? — спросил Джеймс.

— О том, что даже треснутое может быть ценным, — сказал Гроббинс и улыбнулся.

Джеймс не понял, о чём он, но кивнул. Он уже привык, что Гроббинс иногда говорит загадками.

— Чёрная ночь... — тихо напел Гроббинс, возвращаясь за конторку.

— Мы летим словно прах... — ответил ему кто-то из пустоты.

Гроббинс вздрогнул. Ему показалось, что это был голос Эдди. Или нет, а может да? В этом доме уже ничего нельзя было понять.

Он вздохнул, открыл бухгалтерскую книгу и продолжил считать.

Но Эдди знал, что она слышит.

Первыми пришли три старухи в чёрном.

— Мы пришли на спектакль, — сказала одна.

— Это похоронное бюро. Здесь не дают представлений.

— Дают. По ночам. Призрак-комик.

Они ждали с утра до полуночи.

В полночь часы пробили двенадцать.

— Добрый вечер, — сказал голос из пустоты. — Сегодня я расскажу шутку про старух, которые пришли на похороны, а попали на стендап.

— Про нас?

— Про вас. Три старухи сидят в похоронном бюро и ждут призрака. Одна говорит: «Я боюсь». Вторая: «Я тоже». Третья: «А я нет. Потому что я уже умерла. Просто не заметила».

Старухи переглянулись.

— Первая спрашивает: «Как это — не заметить?» Третья отвечает: «Очень просто. Когда всю жизнь ждёшь чуда, перестаёшь замечать, где ты — в мире живых, а где — в мире мёртвых. Главное — чтобы рядом был кто-то, кто рассмешит».

Старухи улыбнулись и ушли.

Следующими пришли дети.

— Мы хотим посмотреть на призрака, — сказал мальчик.

— Призраков не существует.

— А мы хотим убедиться.

В полночь Эдди рассказал шутку про детей, которые не боялись призраков. Дети засмеялись.

— Это была хорошая шутка, — сказал мальчик.

— Это была плохая шутка, — сказала девочка.

— Но она заставила нас улыбнуться.

Гроббинс, стоявший в дверях, покачал головой.

— Ты стал слишком популярным, Эдди. Это не хорошо для бизнеса.

В комнате стало светло. Не от свечей. От смеха.

— Ладно, — сказал Гроббинс. — Пусть будет.

Письмо пришло неожиданно. Эдди репетировал новую шутку, как вдруг пустота замерцала. Из мерцания появился конверт. На марке был изображён Департамент Отсрочки.

Эдди открыл его. Внутри был бланк. Но вместо граф «Фамилия», «Имя» там было написано:

«Эдмунд Траурбель (имя восстановлено по ходатайству гражданки Пеннифезер). Поздравляем! Ваше имя возвращено вам решением специальной комиссии.

Причина: признание общественной пользы вашей загробной деятельности. Согласно пункту 12, подпункту «в»: если призрак, лишённый имени, в течение ста лет продолжает совершать добрые дела безвозмездно, его имя подлежит возвращению.

Ваши добрые дела: 1 247.

Ваше текущее имя: Эдмунд Траурбель (также известен как «Тот самый комик», «Призрак из "Праха и Хохота"», «Никто, который всех рассмешил»).

P.S. Ваш театр в пустоте произвёл на нас впечатление. Выдаём грант на развитие — 1 000 добрых дел.

P.P.S. Смех — это тоже работа. Спасибо, что напомнили.»

Эдди перечитал письмо три раза.

— У меня снова есть имя, — сказал он.

— У тебя никогда не было имени, — ответила пустота. — Была маска. А теперь маску сняли.

Новость разлетелась по пустоте мгновенно.

— Эдди снова есть! — кричала Улыбка.

— Его никогда не было, — возражал Вздох.

— Но теперь у него есть имя!

— Имя — это не он.

— А что же он?

— Смех.

В ту же ночь в похоронном бюро произошло чудо. Гроббинс, подсчитывавший выручку, услышал смех. Не призрачный. Живой. Громкий.

В дверях стоял Эдди. Не прозрачный, не золотистый. Обычный. Бледный, с тёмными кругами под глазами. Но улыбающийся.

— Привет, Гроббинс. Я вернулся.

— Ты же умер!

— Умер. Но это не помешало получить имя обратно.

Гроббинс посмотрел на него долгим взглядом.

— Добро пожаловать домой, Эдди.

Тим спрыгнул с люстры.

— Ты вернулся! Навсегда?

— Навсегда. Или не навсегда. Какая разница?

Они обнялись. И в тот же момент к ним присоединились все. Миссис Мэйфлауэр. Гюнтер. Сэр Реджинальд. Улыбка. Вздох. Тишина. Тысячи. Миллионы. Бесконечность.

Они смеялись. Вместе. В похоронном бюро. В пустоте. Везде.

Потому что смех — единственное, что не знает границ.



ТИМ

«Мальчик, который застрял в трубе»

Он не помнил своего отца. Тот ушёл, когда Тиму было два года. Мать работала прачкой, стирала чужие простыни, чтобы прокормить сына. Денег не хватало. Тим с пяти лет работал трубочистом — лазил в трубы, чистил сажу, задыхался, кашлял, но терпел. Потому что надо. Потому что мать ждала. Потому что если он не принесёт деньги, они умрут с голоду.

Хозяин был жестоким, но платил. Не много — но достаточно, чтобы купить хлеб и молоко. Тим боялся его. Все боялись. Но Тим был лучшим трубочистом в районе — маленький, худой, пролезал в любую трубу. Его называли «Угорь». За то, что скользкий. За то, что его невозможно удержать.

В тот день труба была старой. Кирпичи обвалились. Тим застрял. Он кричал, но никто не слышал. Сажа заполняла лёгкие. Он перестал кричать. Перестал дышать. Перестал быть. Хозяин сказал матери, что он заснул. Что устал и заснул. Мать поверила. Она всегда верила хозяину. Потому что хозяин платил деньги. А деньги — это еда. А еда — это жизнь.

Тим стал призраком. Он не мог покинуть район — был привязан к трубе, в которой умер. Но потом трубу заложили кирпичом, построили похоронное бюро, и Тим оказался в зале прощаний. Он висел на люстре и ждал. Сто пятьдесят лет. Ждал, когда кто-то придёт и скажет: «Ты не один». И однажды Эдди пришёл.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПРЕМИЯ

Ночь опустилась на Лондон как чёрное одеяло. Фонари на Фаррингдон-роуд зажглись в половине седьмого, как обычно. В похоронном бюро «Прах и хохот» было темно. Гроббинс ушёл в половине девятого, закрыв дверь на два замка.

Эдди сидел на дубовом гробу. Он заметил, что на одном из гробов нет имени. — Этот гроб ждёт, — сказал Тим. За окном шёл дождь, мелкий, противный, лондонский дождь. И где-то в канцелярии Небесного Порядка загорелся новый бланк. Регистратор в синем галстуке посмотрел на него и нахмурился.

— Эдмунд Траурбель, — сказал он. — Одно доброе дело. Заставил смеяться палача, который не смеялся триста лет.

— Весомость? — спросил Рудгер.

— Высокая. Палачи — сложная категория. Их смех ценится в пять раз дороже обычного.

— Запиши.

— Уже записал. Сорок восемь из тысячи. Осталось девятьсот пятьдесят два.

Бернард поставил печать на бланк и отложил его в сторону.

— Ещё один, — сказал он. — Который думает, что сможет набрать тысячу за год.

— Они все так думают, — сказал Рудгер. — А потом становятся Никем.

— Да, — сказал Бернард. — Потом становятся Никем.

Он взял следующий бланк и продолжил работу.

А в подвале похоронного бюро «Прах и хохот» мёртвый комик сидел на полу рядом с бывшим палачом и маленьким призраком трубочиста, и все трое смеялись. Смеялись над шуткой про палача, который не ходит на свидания. Смеялись над тем, что жизнь (и смерть) всё ещё может быть смешной.

Наверху, в конторе, мистер Гроббинс всё ещё считал деньги. Он не слышал смеха из подвала — живые не слышат мёртвых. Но что-то заставило him поднять голову. Ему показалось, что оттуда повеяло теплом. Не физическим — другим. Тем, которое согревает не тело, а что-то внутри.

— Ты не спишь? — спросил Тим с люстры.

— Призраки не спят, — сказал Эдди.

— Я сплю, — сказал Тим. — Иногда. Когда устаю. Когда не могу больше смотреть на живых.

Эдди прислушался. Из подвала доносился звук. Не голос. Не шаги. Вздох. Глубокий, тяжёлый вздох.

— Гюнтер вздыхает, — сказал Тим. — Он часто вздыхает по ночам. Иногда — плачет.

— Пойдём к нему, — сказал Эдди.

— Он не любит гостей.

— Я не гость. Я жилец.

Он прошёл сквозь стену и направился к двери в подвал. Гюнтер сидел за столом. Свеча не горела — он читал в темноте. Книга была открыта на той же странице — «De risu» — «О смехе».

— Ты пришёл, — сказал он, не поднимая головы.

— Ты ждал меня? — спросил Эдди.

— Я жду всех, — сказал Гюнтер. — Я жду уже триста лет. Жду, когда кто-то скажет мне, что я прощён.

Он поднял голову. Глаза у него были красными — не от бессонницы, от слёз.

— Ты казнил трёхсот человек, — сказал Эдди, садясь на пол рядом со столом. — Это много.

— Я знаю, — сказал Гюнтер. — Я помню каждое лицо. Каждое имя. Каждую последнюю просьбу. «Передайте моей жене, что я люблю её». «Скажите моему сыну, что я не хотел». Я помню всё.

— Ты не убивал их по своей воле, — сказал Эдди. — Ты выполнял приказы.

— Приказы — это не оправдание, — сказал Гюнтер. — Я мог отказаться. Мог умереть сам. Но я не отказался. Я боялся.

Он закрыл книгу. Положил на стол. Посмотрел на свои руки — огромные, шрамированные.

— Ты думаешь, я чудовище? — спросил он.

— Нет, — сказал Эдди. — Я думаю, что ты человек. Который совершил ошибку.

— Несчастливым, — повторил Гюнтер. — Смешное слово. Несчастный. Значит, тот, у кого нет счастья. А счастье — это что? Смех? Любовь? Покой? У меня нет ничего.

— У тебя есть мы, — сказал Эдди. — Я. Тим. Миссис Мэйфлауэр. Мы — твоя семья.

Гюнтер молчал. Долго. Потом поднялся. Огромный, занимающий полкомнаты. И сделал шаг. К двери.

— Ты куда? — спросил Эдди.

— Выхожу, — сказал Гюнтер. — Ты сказал, что я часть семьи. А семья — это не подвал.

Он прошёл сквозь дверь. Эдди последовал за ним.

Наверху их ждал Тим.

— Гюнтер! — закричал он. — Ты вышел!

— Вышел, — сказал Гюнтер. — Ненадолго. Посмотреть.

Он прошёл в зал прощаний. Остановился перед гробом, в котором лежало тело Эдди.

— Он был хорошим человеком? — спросил Гюнтер.

— Не знаю, — сказал Эдди. — Я знаю только, что я комик.

Гюнтер кивнул. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу.

— Я не выходил триста лет, — сказал он. — Я забыл, как выглядит мир. А он не изменился. Такой же серый. Такой же одинокий.

— Изменился, — сказал Эдди. — Стало больше машин. И меньше лошадей. Но люди всё ещё смеются. Иногда.

Гюнтер отвернулся от окна. Посмотрел на Эдди.

— Спасибо, — сказал он.

— За что?

— За то, что напомнил мне, что я человек.

Он развернулся и пошёл обратно в подвал. Но перед тем, как пройти сквозь дверь, остановился.

— Завтра я приду на твоё выступление, — сказал он. — Послушаю твои шутки. Может быть, даже засмеюсь.

— Я буду рад, — сказал Эдди.

Гюнтер ушёл. Тим подлетел к Эдди.

— Он изменился, — сказал он. — Ты изменил его. Одной шуткой.

— Я ничего не делал, — сказал Эдди. — Я просто был рядом.

— Иногда этого достаточно, — сказал Тим.

Они стояли в темноте и смотрели на дождь за окном. А где-то в канцелярии Небесного Порядка загорались новые бланки. Один за другим. Пятьдесят три. Пятьдесят четыре. Пятьдесят пять.

Счётчик тикал. Время шло.

Но впервые за долгое время Эдди не боялся.

Потому что он был не один, а в подсобке, на старом сосновом гробу, спал Гроббинс. Он не слышал, что происходит в подвале. Он не знал, что Гюнтер впервые за триста лет вышел на свет. Он видел сон. Ему снилась Пенни — маленькая, чёрная, с белым пятном на лбу. Она бежала по полю, виляла хвостом и лаяла. Громко, радостно, призывно. Гроббинс улыбался во сне. А рядом, на тумбочке, стояла его новая чашка — старая, треснутая, с отколотым краем. Она тоже снилась. Ей снилось, что её снова наполнили чаем. Горячим, крепким, с бергамотом.— Чёрная ночь... — прошептал во сне Гроббинс.

— Мы летим словно прах... — ответил ему кто-то из темноты.

Кто это был — Гюнтер, Тим, Эдди или просто ветер, — никто не знал. Но в этом шёпоте было что-то такое, что заставило бы заплакать даже самого чёрствого человека.

Но человек спал.

Или не спал, а просто закрыл глаза, чтобы не видеть того, что не вписывается в его картину мира.

А призраки видели. И улыбались.

Потому что улыбка — это единственное, что остаётся, когда отнимают всё остальное.

Слух о премии распространился быстрее смеха.

— Эдди, ты номинирован! — кричал Тим.

— На что?

— На премию «Смех сквозь слёзы». Это самая престижная загробная награда. Дают тем, кто рассмешил больше всех живых и мёртвых за последние сто лет.

— Кто даёт?

— Департамент Отсрочки. Говорят, инспектор Бланк лично утвердил твою кандидатуру.

Эдди замолчал.

— Я не знаю, хочу ли я получать награду.

— Почему?

— Потому что награда — это когда тебя оценивают. А смех не должен оцениваться. Он должен быть. Просто быть.

— Но если ты откажешься, они обидятся.

— Тогда я приму. Но с одним условием: я хочу произнести речь. Не благодарственную. А смешную.

Церемония проходила в пустоте. Департамент выделил специальную площадку — огромное серое пространство, украшенное золотистыми лентами.

В первом ряду сидели миссис Пеннифезер. Ей было уже под девяносто, Уильям с портретом матери, Томми, который вырос и теперь сам водил на спектакли свою дочку, Ленни Брайтон и даже Гроббинс — в лучшем костюме, с блокнотом для записи расходов.

Церемонию вёл инспектор Бланк.

— Дамы и господа. Мёртвые и живые. Победитель — Эдмунд Траурбель!

Эдди поднялся на сцену.

— Спасибо. Статуэтка красивая. Прозрачная. Как моя совесть.

Зал засмеялся.

— Я хочу произнести речь. Не благодарственную. А смешную. Потому что благодарность — это когда ты кому-то должен. А смех — когда ты никому ничего не должен.

Он повернулся к залу.

— Знаете, в чём разница между живым комиком и мёртвым? Живой боится, что его не запомнят. А мёртвый боится, что его запомнят неправильно. Что его шутки перескажут с ошибками. А он хотел — со смехом.

Он поднял статуэтку.

— Эта награда — не моя, а она — ваша. Всех, кто когда-либо смеялся моими шутками. Всех, кто улыбался, проходя мимо «Праха и Хохота». Всех, кто верил, что даже после смерти можно оставаться человеком.

Он засмеялся и зал засмеялся вместе с ним.

Даже Бланк улыбнулся.

— Знаете, — сказал он, — запах стал слабее. Или это мне просто кажется? — Это вам не кажется, — сказал Эдди. Впервые за сто лет. Искренне. Не по регламенту.

— Спасибо, — сказал Бланк. — Вы — лучший призрак, с которым я работал.

— А вы — лучший чиновник, которого я встречал. У вас хорошие смайлики на полях бланков.

Они пожали друг другу руки. Идея пришла неожиданно.

— Тим, ты знаешь кого-нибудь, кто никогда не смеялся?

— Есть один. В пустоте. В самом дальнем углу. Он не смеялся никогда. Даже при жизни. Врачи сказали, что это болезнь. Неизлечимая.

— Хочу его рассмешить.

— Это невозможно.

— А я попробую.

Пустота в самом дальнем углу была не серой, а чёрной. Там сидел человек. Мужчина лет пятидесяти. Смотрел в стену.

— Здравствуйте, — сказал Эдди. — Меня зовут Эдмунд Траурбель. Я комик. Пришёл вас рассмешить.

— Зачем? — спросил человек. Голос был тихим, безжизненным.

— Затем, что это моя работа.

— Не надо. Я не умею.

— А вы попробуйте.

— Пробовал. Тысячу лет. Не получилось.

— Хотите, я расскажу вам шутку?

— Хотите, я скажу «нет»?

— Хотите. Но вы всё равно не скажете. Потому что вы никогда не говорите «нет». Вы просто молчите.

Эдди сел рядом.

— Однажды встретились два Никем. Один спросил: «Ты кто?» Второй ответил: «Не помню». Первый сказал: «А я помню. Я был комиком. Умер от шутки». Второй сказал: «А я умер от скуки. Смотрел на стену и ждал, когда она упадёт».

Человек молчал.

— Первый спросил: «Хочешь, научу тебя смеяться?» Второй ответил: «Не умею». Первый сказал: «А я не умел плакать. Но научился. Когда умер».

— Зачем плакать, если можно не плакать?

— Затем, что после слёз приходит облегчение. Как после смеха.

Эдди рассказал ещё несколько шуток. Человек слушал. Не смеялся. Но его лицо начало меняться. Уголки губ приподнялись.

— Вы улыбнулись, — сказал Эдди.

— Улыбнулся? Не может быть.

— Может. Вы только что сделали то, что не делали никогда.

— Это странное чувство. Как будто внутри что-то щекочет.

— Это смех. Он просыпается.

— Что мне делать?

— Просто улыбайтесь. Дальше всё придёт само.

Человек улыбнулся шире.

— Спасибо.

— Не за что. Это моя работа.

Слух о театре в пустоте дошёл до мира живых. Те, кому врачи сказали: «Вам осталось полгода», те, кто потерял смысл жизни, те, кто ещё не решил — умирать или бороться, — приходили в бюро.

— Их много, — сказал Тим. — Целых двадцать. И все — живые. Почти.

— Почти?

— Некоторые — на грани.

Эдди вышел в зал.

— Добрый вечер. Меня зовут Эдмунд Траурбель. Я мёртв. Вы — почти. Но это не важно. Важно то, что мы здесь. Вместе.

Он рассказал шутку про порог.

— Человек стоял на пороге. Перед ним была дверь. За дверью — неизвестность. Слева — жизнь. Справа — смерть. А он стоял посередине.

— Ты чего застыл? — спросил голос изнутри.

— Боюсь.

— Чего?

— Сделать неправильный выбор.

— Тогда не выбирай. Просто иди. Куда глаза глядят.

— А если глаза глядят в пустоту?

— Тогда иди в пустоту. Там тоже есть жизнь. Или смерть. Какая разница?

— А можно я сначала посмеюсь?

— Зачем?

— Затем, что смех — единственное, что не боится порогов.

Зал засмеялся.

После представления к Эдди подошла молодая женщина. Бледная, с тростью.

— Я знаю, кто вы. Вы — тот, кто научил меня улыбаться. Пять лет назад. Я хоронила мать. Вы залаяли собакой. Я подумала, что это мой пёс. Но у меня не было пса. Это был смех. Который я потеряла. А вы вернули.

— Я не помню.

— А я помню. Каждый день. Когда мне страшно. Когда мне больно. Я вспоминаю ваш лай. И улыбаюсь.

Она протянула руку. Эдди протянул свою.

— Спасибо, — сказала женщина.

— Не за что. Это моя работа.

В конторе Гроббинс пересчитывал выручку. Он взял печенье из пачки, которая стояла на столе, и откусил кусочек. Пачка не уменьшилась. — Мне показалось, — подумал Гроббинс.

— Это бесконечная прибыль, — сказал он, глядя на печенье. — Я богат. Пятнадцать зрителей — семь шиллингов шесть пенсов. Плюс чай и печенье — пять шиллингов. Плюс сувениры — четыре шиллинга. Итого — шестнадцать шиллингов шесть пенсов.

Он взял свою чашку, отпил глоток и посмотрел на трещину.

— Хороший вечер, — сказал он чашке. — Ты тоже так думаешь?

Чашка молчала. Но Гроббинсу показалось, что трещина стала чуть длиннее. Или это просто свет так падал?

Он пожал плечами, закрыл бухгалтерскую книгу и пошёл спать на гроб. Ему приснились аплодисменты. Сто лет он не слышал аплодисментов. А теперь — услышал. канцелярии Небесного Порядка Бернад, Рудгер и Зелёный сидели за столами и смотрели на бланки. Они светились ярче, чем когда-либо. Семьдесят девять. Восемьдесят. Восемьдесят один. Восемьдесят два. Восемьдесят три.

— Он сделал это, — сказал Бернад. — Он заставил их смеяться.

— Это чудо, — сказал Рудгер.

— Чудес не бывает, — сказал Зелёный. — Бывает только статистика. Восемьдесят три добрых дела за семь дней. Это одиннадцать целых восемьдесят пять сотых дела в день. При норме три.

— К чёрту статистику, — сказал Бернад. — Посмотри на это.

Он указал на бланки. Они светились новым цветом. Цветом, которого не было в палитре Небесного Порядка. Цветом надежды.

— Что это? — спросил Зелёный.

— Это смех, — сказал Берnard. — Настоящий смех. Который не умирает даже после смерти.

Он поставил печать. И продолжил работу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СТУК В СТЕНЕ

За стеной бюро жила женщина. Эдди знал о ней давно. Слышал, как она плачет по ночам. Как включает радио, чтобы заглушить тишину.

— Её зовут Мэгги, — сказал Тим. — Сорок пять лет. Работает уборщицей. У неё никого нет.

— Откуда ты знаешь?

— Я прохожу сквозь стены. Я вижу всё.

— И что она прячет?

— Смех. Она умеет смеяться. Очень громко. Но не смеётся. Потому что боится.

— Кого?

— Соседей. Начальника. Кота, который умер.

Эдди подошёл к стене.

— Мэгги, — сказал он. — Вы меня слышите?

Никто не ответил.

— Я — ваш сосед. Из похоронного бюро. Я — комик. Мёртвый. Я пришёл рассмешить вас.

Тишина.

— Сегодня я расскажу вам шутку. Про женщину, которая жила за стеной и боялась выйти.

Он рассказал. Про женщину, которая слушала смех соседа и думала, что он смеётся над ней. А он смеялся с ней.

— А она? — спросил голос из-за стены.

— Она не знала. Потому что не умела слушать. Она слышала только свой страх.

— А что потом?

— Потом она постучала в стену. Один раз. И сосед постучал в ответ. Они стучали всю ночь. Потому что стук — это язык тех, кто боится слов.

Из-за стены донёлся стук.

— Мэгги?

Стук повторился.

— Вы хотите, чтобы я продолжал?

Стук. «Да».

Эдди рассказывал шутки всю ночь. Мэгги стучала в ответ.

На следующее утро Тим пришёл с новостями.

— Она улыбнулась. Впервые за месяц. Вышла на улицу и улыбнулась солнцу.

В полночь Мэгги впервые пришла в бюро. С бутылкой виски и двумя стаканами.

— Я пришла поблагодарить.

— Не за что.

Она села в кресло, налила виски в два стакана.

— Один — вам.

— Я не пью. Я мёртв.

— А я жива. Но это не мешает мне пить за ваше здоровье.

Она выпила.

— Расскажите шутку.

— Про женщину, которая пришла в похоронное бюро с бутылкой виски.

— Про меня?

— Про вас.

Мэгги засмеялась. Громко, заразительно.

— Я буду приходить каждую ночь.

— Я буду ждать.

Она встала и пошла к двери. На пороге обернулась.

— Спокойной ночи, Эдди.

— Спокойной ночи, Мэгги.

Мэгги приходила каждую ночь.

— Ты сегодня грустный, — сказала она однажды.

— Призраки не грустят.

— Врут. Я чувствую. В твоём смехе появилась нотка. Осенняя.

— Ты — поэт.

— Я — уборщица. Поэты пишут стихи. А я мою полы.

— Какая разница?

— Никакой.

— Расскажи мне о Тиме, — попросила она.

— Откуда ты знаешь про Тима?

— Слышу. Он стучит по трубам. Я думала, это крысы. Но крысы не стучат в такт.

— Тим — мальчик. Умер в трубе. Девять лет.

— Бедный малыш.

— Не бедный. У него есть друзья. И работа — пугать кошек.

Мэгги стала их связью с миром живых. Приносила газеты, рассказывала новости.

— Ты не боишься? — спросил её Гюнтер.

— Чего?

— Нас. Призраков.

— Я уже умерла. Внутри. Давно. А теперь ожила. Потому что вы меня заметили.

— Ты странная, — сказал Гюнтер.

— Это от счастья.

Гюнтер — впервые за триста семьдесят лет — улыбнулся.

— Ты мне нравишься.

— А вы мне. Вы похожи на моего дедушку. Он тоже был большим и страшным. Но добрым.

— Я казнил триста человек.

— А мой дедушка был мясником. Он убивал коров. Но по воскресеньям жарил мне пирожки.

Гюнтер засмеялся. Впервые за триста семьдесят лет.

Тим получил свою первую роль. Эдди поставил спектакль о мальчике, который умер в трубе.

— Ты справишься, — сказал Эдди.

— Я боюсь.

— Чего?

— Что зрители не засмеются.

— А если не засмеются? Что случится?

— Ничего.

— Вот именно. Худшее, что может случиться — тишина. Но тишина — это не конец. Это антракт.

Тим вышел на сцену.

— Добрый вечер. Меня зовут Тим. Я умер в трубе. Мне было девять лет. Теперь мне — вечность. Однажды я встретил кошку. Она была чёрной. Я спросил: «Чего ты боишься?» Она ответила: «Темноты». Я сказал: «А я живу в темноте. Это не страшно. Страшно — когда нет света. А свет — внутри. В улыбке».

Зал засмеялся.

После спектакля Эдди обнял Тима.

— Ты был великолепен.

— Я был собой.

— Это одно и то же?

— Нет. Быть собой — это когда не играешь. А я играл. Но так, что никто не заметил.

— Это и есть талант.

Их семья росла. Миссис Мэйфлауэр. Гюнтер. Сэр Реджинальд. Мэгги. Улыбка. Вздых. Тишина. Тысячи. Миллионы. Бесконечность.

Семья, которую они выбрали сами.

Письмо пришло через неделю.

— Эдди, там на пороге конверт, — сказала Мэгги. — Без марки. Только твоё имя.

Эдди взял конверт и вскрыл. Внутри был старый, пожелтевший листок с карандашными каракулями.

«Дорогой призрак, которого я не видела, но слышала.

Меня зовут Эмили. Мне 14 лет. Я пишу это письмо, потому что бабушка сказала, что вы существуете. Когда моей маме было 5 лет, она потеряла собаку — лабрадора Рекса. Бабушка привела её в похоронное бюро. И там, в полночь, мама услышала лай. Она сказала: «Это Рекс». Бабушка сказала: «Это ветер». Но мама не поверила. Она положила на порог ириски и сказала: «Спасибо, что не ушёл насовсем».

Мама умерла в прошлом году. Рак. Перед смертью она сказала: «Эмили, если тебе будет страшно — иди в похоронное бюро на углу. Там есть призрак. Он лает собакой. И смеётся так, что даже мёртвые улыбаются».

Я пришла. Сегодня. В полночь. Вы рассказывали шутку про чиновника и бланки. Мне не было смешно. Но я улыбнулась. Потому что вспомнила маму.

Спасибо.

Эмили.

P.S. Ириски я положила на пороге. Для Рекса. Или для вас. Какая разница?»

Эдди перечитал письмо три раза.

— Ты чего? — спросил Тим. — Ты плачешь? Призраки не плачут.

— Это не слёзы. Это... я не знаю. Это чудо. Или благодарность. Эта девочка, Эмили. Её мать — та самая девочка с ирисками. Томми. Точнее, не Томми — Томми был мальчик. Но это была она.

— Ты изменил её жизнь, — сказала миссис Мэйфлауэр.

— Нет. Это она изменила свою жизнь. Я просто залаял.

В полночь Эдди сел писать ответ.

«Дорогая Эмили.

Спасибо за ириски. Рекс их съел. Шучу. Призраки не едят. Но он был рад. Я тоже.

Твоя мама была храброй девочкой. Она не испугалась, когда услышала лай. Она улыбнулась. А улыбка — это маленькая победа.

Если тебе когда-нибудь будет страшно — приходи. Я буду здесь. В этом бюро. На этом подоконнике. С новой шуткой.

Твой друг, Эдди.

P.S. Передай бабушке привет. Её муж — он здесь. В пустоте. Ему нравится, когда я шучу про банкиров».

Мэгги отнесла письмо.

— Она плакала, — сказала Мэгги, вернувшись.

— Плохо?

— Хорошо. Она сказала: «Я знала, что он существует». И улыбнулась.

Миссис Пеннифезер пришла в субботу. Как всегда. Как каждую субботу на протяжении почти сорока лет. Но в эту субботу она была не одна. С ней пришла правнучка, Лилия.

— Это Лилия, — сказала миссис Пеннифезер. — Она хотела посмотреть на призрака.

— Прабабушка, призраков не существует.

— А я тебе говорю — существуют. Я их слышала.

Миссис Пеннифезер уселась в своё кресло — то самое, в котором сидела сорок лет назад, — и закрыла глаза.

— Он здесь. Я чувствую.

В полночь Эдди вышел на сцену.

— Добрый вечер. Сегодня особенный вечер. Сегодня я расскажу шутку для одной женщины. Которая пришла сюда сорок лет назад заказать самый дешёвый гроб для мужа, а ушла с улыбкой.

Он сделал паузу.

— Её зовут миссис Пеннифезер. Элоиза. Она — первая, кто не испугался. Первая, кто улыбнулся.

Миссис Пеннифезер открыла глаза.

— Это ты, Эдди?

— Я. Сегодня я хочу вас отблагодарить. За то, что вы были первой. За то, что приходили каждую субботу. Сорок лет.

Он рассказал шутку про старую шляпу.

— Одна женщина пришла в похоронное бюро. Хотела заказать самый дешёвый гроб. Гробовщик сказал: «У нас есть модель "Эконом"». Женщина сказала: «А можно ещё дешевле?» Гробовщик сказал: «Можно картонную коробку». Женщина сказала: «А можно просто выбросить его на помойку?»

— Это про моего мужа? — спросила миссис Пеннифезер.

— Это про всех мужей, которые умирают на диване.

Она засмеялась. Встала, опираясь на трость.

— Я пойду. Старость — даже сидеть тяжело.

— Я провожу.

— Не надо. Ты привязан к этому бюро.

— Провожу до двери.

Она кивнула и пошла к выходу. Эдди следовал за ней.

— Ты был хорошим призраком, — сказала она.

— Я был хорошим комиком. Призраком стал случайно.

Она протянула руку. Эдди протянул свою. Они не могли коснуться друг друга. Но им показалось, что они почувствовали тепло.

— До свидания, Эдди.

— До свидания, миссис Пеннифезер. Спасибо, что были в зале.

— Я всегда буду в зале. Даже когда меня не станет.

Она вышла. Дверь закрылась.

— Она не вернётся, — сказал Тим.

— Знаю.

— Ты будешь скучать?

— Буду. Но это не важно.

— А что важно?

— То, что она была. То, что она помнила. То, что она улыбалась. Это случилось в ночь после того, как миссис Пеннифезер ушла. Эдди сидел на подоконнике и смотрел на Лондон.

— Чёрная ночь, — сказал он.

— Что? — спросил Тим.

— Чёрная ночь. Мы летим словно прах.

— Ты говоришь стихами.

— Это не стихи. Это то, что пришло из пустоты.

Он закрыл глаза и прислушался. Из пустоты доносился ритм.

— Здесь счастье и смех, подстава и месть.

Он встал и вышел в центр комнаты.

— Сегодня я буду петь. Не потому, что умею. А потому, что так надо. Потому что пустота попросила.

В этот момент в дверях показался Гроббинс. Пьяный. Со стаканом виски.

— Эдди, ты здесь?

— Здесь.

— Спой мне. То, что пел сегодня ночью. Я слышал сквозь стены.

— Я не умею петь.

— А я не умею слушать. Какая разница?

Эдди открыл рот и запел.

— Чёрная ночь! Мы летим словно прах! Здесь счастье и смех, подстава и месть. Бюро и доход! О Лондон родной! И гибель смешна! Здесь шарфы и венки, гробы уж чисты. Смотри не умри...

Из пустоты ответили тысячи голосов.

— Чёрная ночь! — подхватил Гроббинс.

Эдди замолк от неожиданности.

— Ты знаешь слова?

— Я их только что услышал. Сквозь стены. Они застряли в голове.

Они запели вместе.

— Бюро и доход! О Лондон родной! И гибель смешна!

Гроббинс встал прямо.

— Смотри не умри в рот Гроббинса! — заорал он.

Пустота ответила. Тысячами голосов. Миллионами.

Когда песня затихла, Гроббинс стоял посреди комнаты, тяжело дыша.

— Я никогда не пел.

— А теперь поёшь.

— Ты испортил меня. Я был хорошим гробовщиком. Циничным. Бессердечным. А теперь я пою.

— В этом нет ничего плохого.

— Теперь я не смогу смотреть на клиентов без улыбки. А улыбка — плохо для бизнеса.

Он пошёл к двери.

— Ты споёшь завтра?

— Спою.

— Тогда я приду.

На следующее утро Гроббинс открыл амбарную книгу и написал на полях:

«Чёрная ночь! Мы летим словно прах! Здесь счастье и смех, подстава и месть. Бюро и доход! О Лондон родной! И гибель смешна! Здесь шарфы и венки, гробы уж чисты. Смотри не умри в рот Гроббинса»

Он посмотрел на эти строки и улыбнулся. Впервые не дежурной улыбкой продавца. А настоящей.



МИССИС АРАБЕЛЛА МЭЙФЛАУЭР

«Женищина, которая вязала вечность»

Она была учительницей музыки. У неё были ученики — дети богатых родителей, которые учились играть на фортепиано, чтобы блистать на балах. Она не любила их. Они были избалованными, капризными, неблагодарными. Но она учила их — потому что надо. Потому что деньги нужны. Потому что другой работы не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.